





АНАТОЛИЙ КИМ

*Сбор грибов  
под музыку Баха*



ПАЛ Ъ МИ РА  
Т8 ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Москва / Санкт-Петербург

2 0 2 4

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6  
К40

**Ким А.**

К40 Сбор грибов под музыку Баха / Анатолий Ким. — М. ; СПб. : «Т8 Издательские Технологии» / «Пальмира», 2024. — 204 с. — (Серия «Пальмира — Ким»).

ISBN 978-5-517-09544-2

Анатолий Ким (р. 1939) — русский прозаик, драматург и переводчик. «Сбор грибов под музыку Баха» — роман-мистерия, который рассказывает трагическую историю гениального музыканта Тандзи, услышанную автором в поездке по Японии. Его герои — Голоса и Грибы — вступают в диалог о музыке, Боге и человеке, и в этих беседах читателю открывается истина: поэзия и музыка имеют общее начало — божественное. Единству Бога и человеческого искусства Ким и посвящает свой музыкально-полифонический роман.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-517-09544-2

© Ким А. А., 2024  
© Оформление.  
АО «Т8 Издательские Технологии»,  
ООО Группа компаний «РИПОЛ классик», 2024

*Жить стоило только ради любви.*

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Голоса.

Грибы.

## 1. АНГЛИЙСКИЕ СЮИТЫ

*Когда-то был огромный город Токио, и в нем находилась психиатрическая лечебница под названием «Капчигай». В этом заведении для скорбных главою с шестнадцати лет стал бывать в качестве пациента юноша по имени ТАНДЗИ. Его привозили в тяжелом состоянии, порой совершенно неспособного передвигаться и даже просто сидеть и принимать самостоятельно пищу. Весь свернутый, как пружина, он находился в позе утробного младенца, и невозможно было заставить его распрямиться. Больному делали уколы, а потом, вяло и безучастно лежащему на больничной койке, давали сильнодействующие лекарственные средства.*

*Они обычно помогали ему, и через некоторое время наступало улучшение. Тогда ТАНДЗИ мог уже выходить из палаты, гулять по коридору, а в выходные дни и по праздникам ему разрешали даже съездить домой. Месяца через два-три его выписывали в приличном состоянии — до следующего раза.*

*Лечебница эта была довольно дорогим заведением, платил за пребывание в нем ТАНДЗИ его отец, представитель концерна «ТОКЭЙ», и этот отец ни разу не появился в больнице. Мать тоже не навещала сына, ограничиваясь лишь тем, что привозила его в лечебницу, когда с ним случался очередной припадок черной меланхолии. Обычно мать вызывала санитарную*

машину из этой лечебницы и везла безмолвно скорченного, словно бездыханного, юношу до «Капчигая» через весь громадный Токио с одной его окраины на другую. Она сидела напротив санитаров с сухим, замкнутым лицом и не придерживала больного сына даже тогда, когда тот на крутых виражах машины начинал съезжать с носилок, на которых лежал непривязанным, на боку, подтянув ноги к голове, уткнувшись лбом в собственные колени.

Громадный супергород, пропускавший через свое чрево, по скоростному шоссе на Кобе, маленькую, шуструю, ярко раскрашенную санитарную машину, Токио был тогда еще в полном расцвете своих чудовищных демиургических сил.

И миловидной моложавой женщине с бледным лицом, с пристальным, самоуглубленным взглядом черных неподвижных глаз — матери ТАНДЗИ, в очередной раз везущей сына в сумасшедший дом, было особенно сиротливо, пусто на душе в ощущении своего несчастья и своей малости — во чреве гигантского города, в плену несчастного мира...

С этим ощущением непомерности и неодолимости всей горести существования она и появлялась в клинике, сопровождала несомого санитарями больного сына до приемного покоя, передавала его медсестре, оформляла надлежащие бумаги — и все это делала без лишнего слова. Затем уходила из больницы, не задерживаясь там ни на одну минуту.

Никогда мать ТАНДЗИ не вступала ни в какие разговоры с медсестрами, ни о чем не расспрашивала врачей — она словно избегала этих разговоров, столь обыденных между родственниками больных и их врачами. И медицинской сестре МИОКО так и не пришлось ни разу побеседовать с этой женщиной о ее сыне, разузнать хоть что-нибудь о тех причинах, которые омрачают душу этого юноши, не дают ему жить и, очевидно, вскоре окончательно погубят его.

МИОКО. Я и не думала осуждать эту госпожу, но когда она однажды спросила у меня, нельзя ли ей оставить сына в больнице на постоянно, я сначала опешила, промолчала, не найдя даже, что и сказать, а затем посоветовала ей обратиться по этому поводу к доктору НУМАНО. Разумеется, я заранее знала, что ответит ей доктор НУМАНО, но мне хотелось, чтобы он при этом как следует съязвил ей, чего не стеснялся делать, если докучали ему глупостями, и чтобы он сам убедился, каковы подлинные домашние обстоятельства у бедного ТАНДЗИ.

Как-то странно все это было! Сотни и сотни больных прошли через мои руки — но почему-то именно он один так запал мне в душу. Почему-то его было жаль больше, чем кого бы то ни было! И даже в тот день в Кобе, в мой последний час, когда стены закачались, как сумасшедшие, от люстры посыпались осколки, шкафы с лекарствами полетели на пол, — и я, шатаясь, выбежала в коридор больницы, в темноте ощупью направилась в сторону лестницы — шла в темноте и чувствовала, как все подо мною и вокруг ходит ходуном, и уже понимала, что погибаю (не дожив и до сорока лет!) — даже в ту ужасную минуту почему-то подумала о нем, снова об этом бедном мальчике! словно на свете не было никого другого, о ком надо было бы мне вспомнить в последнюю минуту своей жизни.

НУМАНО. Ну до чего же горячо! До чего холодно! Э-э, сестра МИОКО словно все еще продолжает пребывать там, где были в ходу такие слова, как «бедный мальчик», «мой последний час»... Там мне почему-то пришлось ковыряться в чужих свихнувшихся мозгах — и постепенно убедиться, что у всех они такие, у меня самого тоже! Помог мне открыть эту немудрую истину один пациент, некий русский человек, музыкант, который по контракту оказался в Японии, играл в Токийском симфоническом оркестре на

валторне. Год он играл себе — и весьма недурно — на своей закрученной много раз, словно моток садового шланга, серебристой трубе, да вдруг занемог и попал в нашу лечебницу. Он мне признался, что является не столько музыкантом, сколько мистическим существом и прозывается — ОБЕЗЬЯНА РЕДИН.

Из всех чувств, испытываемых людьми, он более всего ценил чувство юмора... Он считал юмор теплым чувством — наиболее щадящим человеческую душу. В то время как всякие горячие страсти опаляют и сжигают ее, подобно звездному огню, а всякая лютая ненависть или зависть вымораживает душу, подобно холоду космической пустоты. Меня он просил о том, чтобы я каким-то образом помог ему вернуть вдруг пропавшее во время его пребывания в Японии чувство юмора. С упорством маньяка он твердил, что жизнь духа продуктивна только в приближении к диапазонам чувства юмора — и это соответствует тому, мол, что жизнь физическая возможна только в пределах теплых температур...

Так вот, этот русский господин открыл мне глаза на меня самого — что я тоже, оказывается, проживал свою жизнь, совершенно не понимая и не чувствуя всей смешной подоплеки. И мне тоже казались серьезными, абсолютно серьезными, вовсе не смешными, все эти наши профессиональные обязанности, «бедные люди», «униженные и оскорбленные», почитание императора, смерть буйного дебила в железной клетке, среди собственных испражнений. Но после нескольких бесед с русским пациентом я убедился, что он, бедняга, был прав. Все подобное тому, о чем уже шла речь, оказалось возможным и допустимым свыше лишь потому, что это смешно. Бог создавал мир с улыбкой. А мы, изменив ему, приняли на веру хмурую серьезность Его врага и во всем стали искать трагическую подоплеку.